

Вилен Барский. «LOCUS SOLUS»

...будет ПРОВЕРКА всегда
КЛАССик
благоУСТРОЙСТВА-ВРЕМЕНИ раб
открыть и ЗАКРЫТЬ заслонки слов
КОБОЛ твой код
как бы ДЛЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ желания жить¹
Вилен Барский "Зарезервированные слова 3" (II.1973)¹

Поэт и художник Вилен Барский (1930–2012) относится к числу наиболее интересных и ярких фигур неофициальной художественной жизни Киева 60-70-х годов. В круг его близких друзей входили Валерий Ламах, Геннадий Айги, Валентин Сильвестров, Сергей Параджанов, Григорий Гавриленко. Как поэт, Барский экспериментировал с различными типами письма и визуализации поэтического текста, в частности, его можно считать пионером русскоязычной конкретной поэзии. В СССР в официальных издательствах публиковаться не пытался – принципиальная позиция, разделяемая, кстати сказать, в Москве близкими ему по духу Всеволодом Некрасовым и Игорем Холиным. На жизнь зарабатывал уроками рисования. Позже, уже став членом Союза Художников, выставлял – и то лишь изредка, по необходимости, "неидеологические" портреты. В 1981 году Барский эмигрировал в Западную Германию, жил в Дортмунде. Там в 1995 году им был написан текст "Locus Solus", воспоминание о киевском Ботаническом саде времен его детства.

Название текста перекликается с одноименным романом французского писателя Раймона Русселя (1877–1933). Трудно сейчас даже сказать, каким образом Барский узнал об этом романе и насколько он был знаком с его содержанием – Руссель был практически неизвестен русскоязычному читателю. Первый перевод отрывков из "Locus Solus" на русский язык Виктора Лапицкого появился только в 1999 году в петербургском издательстве "Амфора", а годом позже в киевском издательстве "Ника-Центр" вышел полный перевод, сделанный Евгением Маричевым. По свидетельству вдовы Барского Ольги Денисовой, эти книги были в их дортмундской домашней библиотеке. Возможно, заглавие было прибавлено к тексту несколько лет спустя. Или Барский изначально писал, инспирированный самим словосочетанием "locus solus" и виденной где-то аннотацией к роману. В любом случае, кажется, трудно найти переклички между крайне причудливой паранаучной фантастикой Русселя, этого столь близкого сюрреалистам "президента республики снов" (по выражению Луи Арагона), и текстами Барского, всегда стремившегося к открытому, прямому поэтическому высказыванию – будь то в его ранних минималистских текстах или в лирике немецкого периода. Интересные аналогии, впрочем, может дать сопоставление метода находящегося как бы "за повествованием" подбора омофонических словосочетаний у Русселя (описанного в его тексте-завещании "Как я написал некоторые из моих книг") и цикла "Зарезервированных слов" у Барского, где он использует слова-команды компьютерного языка "КОБОЛ". Однако оба "локуса солуса" (поместье гениального изобретателя Кантареля,

своего рода наземного капитана Немо – у Русселя, и киевский Ботанический Сад – у Барского) роднит не манера описания, но их предназначение. И тот и другой являют собой *специальные места*, культурно-природные агрегаты, фантазмы универсальности, своего рода "целибатные машины"² памяти, направленные вспять к поискам идеального, райского состояния, сияющего стазиса, объединяющего жизнь и культуру – посредством языка, однако за его пределами.

Ботанический Сад в описании Барского – не просто заповедный однородный ландшафт, но место, внутренне организованное соприкасающимися зонами: специально посаженные деревья, снабженные табличками с названиями ("прирученная природа"), пригорки и склоны, поросшие обычным лесом ("дикая природа"), находящаяся в центре сада библиотека ("культура"), и наконец, "посверкивающая стеклянными ребрами крыша оранжереи", где автор так ни разу и не побывал ("тайна"). Все вместе образует светлое магическое пространство, "Модель Мира" или, по крайней мере, нечто "внушающее себя в качестве таковой".

И в то же время сад памяти всегда может обернуться садом беспамятства и садом злодеяний, достаточно легкого щелчка тумблера, право на который обычно оставляет за собой История. В поместье Кантереля тоже есть прекрасные ландшафты, природные курьезы, бирки с подписями и огромная библиотека. Однако центральную главу романа Русселя занимает описание стеклянных витрин-холодильников, в которых тела умерших, повинувшись оживляющему действию мозговых затычек из изобретенного Кантерелем *резуректина*, демонстрируют время от времени свои прижизненные преступления. Так и в центре идиллического описания у Барского вдруг возникает странная и зловещая картина, почти видение: летом 1941-го года на аллеях Сада он видит людей, "сидящих на каких-то узлах и чемоданах, прямо на земле, на подстеленных одеялах (никто из них почему-то не сидел на скамейках) – это были беженцы из Западной Украины, так тогда говорили". "Они казались несчастными, растерянными, странными и чужими, – продолжает Барский, – и я не понимал, что через месяц-два сам стану таким же беглецом, лишенным опоры, и что в дальнейшем та же жизненная ситуация повторится не раз и не два, и на все это (с небольшими трансформациями) достанет всей моей жизни...".

Языковые машины памяти действуют в двух направлениях: назад, в *воспоминание*, в "обретенное время", но тут же вновь пробрасывают нас из него вперед – в *предсказание*. Предсказание отчуждения, бесприютности и безвременья, испытываемых нами здесь и сейчас. Причем все это происходит с такой частотой и такой аритмией, что мы сами не можем отделать аберрации вспомнившегося от кажимости предсказанного. Недаром в воспоминаниях о Ботаническом Саде своего детства Барскому уже грезятся и ковыльные степи, и куски немецкого леса... Однако в таком разрыве, "сне" (здесь у Барского тоже появляется это столь излюбленное сюрреалистами слово) мы только и обретаем возможность прямого несмущаемого говорения, говорения от своего и единственно своего имени. Там, где мы перестаем быть "рабами благоустройства времени", и подаваемые нам сверху исторические команды есть лишь повод открыть или закрыть "заслонки слов". Целибата

памяти не существует, мы всегда находимся в омраченности. Но это не мешает, и более того, требует от нас раз за разом выбрасывать на кон свои собственные "доски судьбы", свои "вычисления желания жить".

В конце своего текста Вилен Барский упоминает написанное им много раньше стихотворение "Ботанический сад – детство". По существу, его "Locus Solus" и является оправданием этого очень прямого, незамутненного, очень персонального высказывания. Им мы заканчиваем нашу подборку.

Юрий Лейдерман

1. "THE BLUE LAGOON ANTHOLOGY OF MODERN RUSSIAN POETRY" by Konstantin K.Kuzminsky & Gregory L.Kovalev + Ocheretyansky, 3B volume, Oriental Research Partners, Newtonville, Mass., стр. 259

2. Термин Мишеля Карружа, сопоставившего в одном ряду машины и аппараты из текстов Русселя, Эдгара По, Жарри, рассказа Кафки "В исправительной колонии", а также "Большое Стекло" Дюшана, "Сатурна, поедающего своих детей" Гойи и т.д.



Вилен Барский

Locus Solus¹

Где-то (не помню точно где) Х.Л. Борхес размышляет о вечных метафорах, т.е. метафорах извечно повторяющихся. Эти метафоры, ставшие от долгого повторения банальными, он наделяет высшими ценностями. И хотя мы сегодня в поэзии поступаем прямо противоположно, в этой мысли Борхеса есть что-то почти магически завораживающее. Вообще-то ведь банальность есть часть реальности. Не случаен и нынешний интерес к тривиальному искусству. Я это к тому, что мой небольшой текст может показаться местами банальным, но это для меня не помеха; ведь если в нем и пойдет речь о банальностях, то связанных с дорогими моему сердцу детскими годами – будь то память о милых моментах, будь то о царапинах, заживших, конечно, когда всплывают они в памяти, несущих боль отчуждения. С банальности и начну, с той, скажем, что детство определяет фундамент личности, т.е. очень многое, если не почти все в ней.

Детство мое проходило в довоенном Киеве и, поскольку жили мы рядом с Ботаническим садом, на углу Тарасовской и Никольско-Ботанической (окрестные улицы, как и эти обе, то словно впадали в его зеленое озеро, то словно омывали его), каждое мое лето связано было именно с ним. Впервые я попал в Сад еще в нежном дошкольном возрасте с несколькими другими мальцами и малышками под присмотром чистенькой и строгой старушки-немки, выгуливавшей нас там на летнем солнце, а когда стал школьником, бегал в Сад летом каждый день: "Пошли в Ботанический!", и не шли, конечно, а бегом бежали...

То, что для взрослого в Саду выглядело вполне обычным деревом, кустом, оврагом с утопающим в его тени ручьем, и т.д. и т.п., мне мальчишке казалось не просто бóльшим, чем на самом деле, но всё это вместе было, именно *было*, огромным особым миром, будоражащим и неопределенным – то тревожным, то вдруг спокойным, всегда неисчерпаемым, каждый раз немного другим. Конечно, родные Тарасовская и Никольско-Ботаническая были любимы (предпочтение я отдавал тихой и знакомой до последнего камушка или лужи Никольско-Ботанической), но именно поэтому они становились "рутиной", здесь все было слишком известно и отсутствовал фактор неожиданности, а Сад – это было совсем что-то иное, особенное.

И, между прочим, реальная топография и жизнь Ботанического Сада, и в прямом смысле, и в смысле их *значимости*, в самом деле были разнообразны: были тут и аллеи со скамьями, бегущие горизонтально, спускающиеся вниз и идущие в гору, то прямые, то изгибающиеся, и множество различных деревьев, явно специально посаженных и выращенных – некоторые из них были снабжены табличками с загадочными названиями, казавшимися почти их именами (т.е. "прирученная природа" как пространство организованное человеком); и пригорки и склоны, поросшие вроде бы уже "неорганизованным" лесом, и поражавший мое детское воображение, широкий и глубокий овраг – точнее, слегка изгибающаяся ложбина, плавно спускавшаяся к нижней оконечности Сада – овраг всегда затененный, и ручей в нем, даже в жару распространяющий в воздухе прохладную влажность, и запах сырости и гнили, запах прошлогодней листвы – тут, казалось, могут быть и змеи (т.е. "дикая природа" как нечто

первозданное, независимое от человека, даже противостоящее ему); и даже детская библиотека, располагавшаяся в летнее время на краю ровной площадки граничащего с оврагом холма, с большой круглой цветочной клумбой в центре и скамьями вокруг нее – тут, помню, за один раз проглотил я "У истоков Сасквеганны" Фенимора Купера (т.е. "культура" как ответ человека на самостояние природы созданием чисто своего дискурса); и еще где-то вдали, на дальнем краю понижающегося рельефа Сада, "за лесами, за горами", а точнее, над верхушками деревьев, посверкивала стеклянными ребрами крыша оранжереи, такой же непроницаемой и недоступной, как Замок у Кафки (т.е. "тайна" как притяжение темного и непознанного вовне или как сфера бессознательного внутри человека), – в оранжерею я так никогда и не попал, даже и после войны, и поэтому может быть избежал разочарования в воображаемом экзотическом растительном царстве, которое, как казалось тогда, в детстве, должно в ней пребывать; все это вместе было МИР, большой мир, сконцентрированный до малого и огражденный (может, почти Райский сад – архетип всех последующих садов?), или, скорее, он, Сад, оказывался некой *Моделью Мира* (воспринимаемой безотчетно), которая как бы *внушала* себя в качестве таковой.

(В своих "взрослых" снах – было время – я не раз возвращался в Сад, который иногда приобретал уже явно фантастические черты: так, однажды, в одном из снов появились даже куски ковыльной степи (!); но какие, собственно, склоны оврагов, с растущими вверх, вдоль края, деревьями, вижу я внутренним зрением, когда сейчас вспоминаю отдельные места Сада? – действительно ли они принадлежат ему, или на них наложились другие, подобные им, виденные мною позже, в Среднем Поволжье и на Смоленщине, где я жил или бывал, а может быть даже и куски немецкого леса – ведь здесь, в Германии, мы живем рядом с большим лесом, в котором также проложены несколько "цивилизовавшие" его дороги, но все же это именно *лес*, а не *сад*...)

Летом 41 года, вскоре после начала войны, Сад стал предсказателем моей собственной судьбы: на его аллеях я в один прекрасный день увидел людей, сидящих на каких-то узлах и чемоданах, прямо на земле, на подстеленных одеялах (никто из них почему-то не сидел на скамейках) – это были беженцы из Западной Украины, так тогда говорили. Они казались несчастными, растерянными, странными и чужими, и я не понимал, что через месяц-два сам стану таким же беглецом, лишенным опоры, и что в дальнейшем та же жизненная ситуация повторится не раз и не два, и на все это (с небольшими трансформациями) достанет всей моей жизни – что поделать, наш век – это век беженцев и эмигрантов. Предсказание в тот момент было, естественно, мне так же непонятно, как, скажем, темны были слова прорицания Дельфийской Сивиллы, обращенные к какому-нибудь древнегреческому царю или герою.

Так или иначе, мне сейчас ясно, я даже уверен, что все было именно так: наисильнейшим импульсом киевского моего детства была, иначе не скажешь, *некая магия Сада*, ритуальный момент вхождения в мир природы, своего рода "инициация" в нее, и неосознанное тогда, но все же реальное становление взаимоотношения, взаимозависимости "Я и Мир", реализующееся, впрочем, через почти эротическую в своей интенсивности конкретику

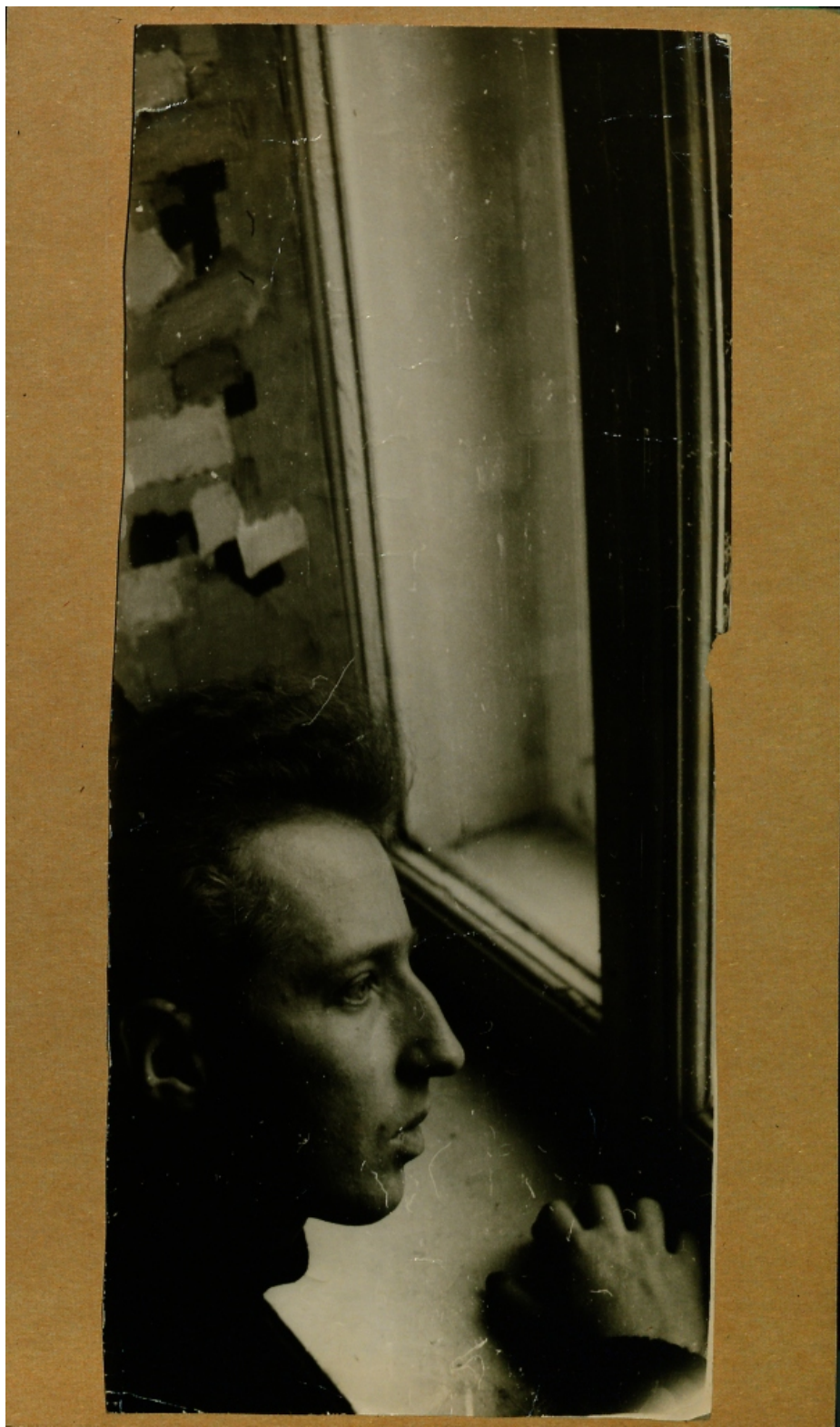
видимого, слышимого, осязаемого, обоняемого.

Именно об этом стихотворение моей подборки "*Ботанический сад – детство*", о том самом первом "вхождении в природу". Только в конце стиха происходит прорыв в мифологическое, возможный на самом деле лишь в сознательном возрасте. Но сон соединяет невозможное с возможным тем, что делает первое вторым: делает единым и равноценным прикосновение к мифу – зерну культуры, и осязание листа – символа природы.

Итак, улицы, дома, архитектура города, и не исключено, что даже люди, не были так уж важны для меня тогда, не вызывали такого жгучего интереса как Сад. После войны, после возвращения в Киев, и позже, некоторые места города открылись мне (я их полюбил, они даже стали моими маленькими тайнами), но их воздействие на меня и, главное, сила этого воздействия никогда не сравнилась с тем волшебством Сада.

Спасибо Городу, спасибо свету неба над ним, спасибо тебе, Ботанический сад. То, что и сегодня дерево, куст, птица, кусок природы всё так же для меня в определенном смысле "необычны" – твоя заслуга. Оттого-то и хочется переадресовать именно тебе чудесное хлебниковское "О, Сад, Сад!"...

1995



Ботанический сад - детство²

Золотые листы
шпалеры зеленые золотые от солнца
купель золотая пространства аллеи
и воздуха между шпалерами листьев
золотых и зеленых
пространство спокойствия
здесь и сейчас

присутствие тайны
поющей чуть слышно голосом листьев и пчел
песню вечного лета
тут не бывает зимы не бывает
здесь и всегда

руки впервые касаются малого мира
впервые видят глаза матовость пыли на листьях
золотых и зеленых
и забывается сразу
все что будет еще

прохождение между
вхождение
легкость свет и свобода
триада из сна
о сад
золотые плоды Гесперид
о сон повторись

1978

1. Locus Solus на латыни означает: *единственное место; место, единственное в своем роде*. Заголовок моего текста является своеобразной игрой и со смыслом этого выражения вообще, и с одноименным названием романа французского писателя Раймона Русселя (1877 – 1933). События романа разворачиваются в усадьбе его главного героя, гениального изобретателя, создателя причудливых и уникальных механизмов и устройств. Усадьба эта также носит имя "Locus Solus".

2. Публикуется по изданию "Дом с химерами. Поэтический сборник", "Факт", Киев, 2000 (прим. Ю.Л.)